1-й экз

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОМИТЕТА

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ

П. А. КРОПОТКИНА

№ 2

9-го декабря 1924 года.

652/2

МОСКВА.
Издание Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.

1176 г.

1-й экз

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
КОМИТЕТА

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ

П. А. КРОПОТКИНА



№ 2

9-го декабря 1924 года.

МОСКВА.
Издание Всероссийского Общественного Комитета по увековечению
памяти П. А. Кропоткина.

Новые страницы „Записок революционера“.

1. Первое знакомство с Интернационалом.

По приезде в Цюрих *) я вступил в одну из местных секций Интернационала и спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно познакомиться с великим движением в других странах. „Читайте“,—сказали мне, и одна моя родственница (Софья Николаевна Лаврова), учившаяся тогда в Цюрихе, принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два года. Я читал целые дни и ночи напролет и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится. Поток новых мыслей, зародившихся во мне, связывается в моей памяти с маленькой, чистенькой комнаткой на Оберштрассе, из окна которой видно было голубое озеро, высокие шпили старого города, свидетеля стольких ожесточенных религиозных споров, и горы на другом берегу, где швейцарцы боролись за свою независимость.

Социалистическая литература никогда не была богата книгами. Она писана для рабочих, у которых и несколько копеек уже деньги, да и времени мало на чтение после долгого рабочего дня. Поэтому она состоит преимущественно из брошюр и газет. К тому же желающий ознакомиться с социализмом мало найдет в книгах того, что больше всего ему нужно узнать. В книгах изложены теории и научная аргументация социализма, но они не дают понятия о том, как работники принимают социалистические идеалы и как последние могут быть осуществлены на практике. Остается взять кипу газет и читать их от доски до доски: хронику, передовые статьи и все остальное; хроника рабочего движения даже важнее передовых.

Зато совершенно новый мир социальных отношений и совершенно новые методы, мышления и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь, а именно: об‘ясняет глубину и нравственную силу движения и показывает, насколько

---

*) Раннею весной 1872 года. Ред

люди проникнуты новыми теориями, насколько работники подготовлены провести идеи социализма в жизни и пострадать за них. Всего этого из другого чтения нельзя узнать, а потому все толки теоретиков о неприменимости социализма и о необходимости медленного развития имеют мало значения, потому что о быстроте развития можно судить только на основании близкого знакомства с людьми, о развитии которых мы говорим. Можно ли узнать сумму, пока не известны ее слагаемые?

Какая польза, например, мне знать, что Энгельс построил такую то утопию, или Кабе выражался так то о будущем обществе, пока у меня нет никаких элементов для того, чтобы сказать: „Да, рабочие способны вести такие-то свои дела без помощи буржуя", или „в рабочей среде достаточно развит элемент взаимопомощи, взаимной поддержки и инициативы, чтобы приступить к осуществлению идеалов социализма".

Общественная (социальная) гипотеза, утопия должны оставаться утопией и гиппотезой, если нет людей, стремящихся к осуществлению именно этой утопии в такой-то форме. Простой факт, например, что во время Парижской Коммуны, когда все чиновники оставили Париж и почта была дезорганизована, рабочему Тейшу достаточно было собрать простых почталионов и сказать им: „Вам, господа, предстоит самим организовать сортировку и разноску писем, не ожидая организации сверху", чтобы через два - три дня разноска почты в Париже сорганизовалась с тем же механическим совершенством, как это было и до Коммуны. Такой факт,—а их тысячи в хронике рабочего движения,—больше проливает света на возможность безгосударственной утопии, чем десятки блестящих рассуждений о руководящих импульсах человеческих поступков.

Во всех социальных вопросах главный фактор—хотят ли того-то люди? Если хотят, то насколько хотят они этого? сколько их? Какие силы против них? Все теории эволюции ничего не стоят, покуда на этот вопрос нет ответа. Медленность эволюции—конек Спенсера и многих других ученых. А между тем никто никогда еще в науке не пытался определить факторы, от которых зависит скорость эволюции. Скорость человеческой эволюции в данном направлении вполне зависит от интеграла единичных воль. А между тем найти этот интеграл или хотя бы только оценить его количественно можно только живя среди людей и следя за самыми простыми обыденными мелкими проявлениями человеческой воли.

Вот в каком смысле чтение социалистических газет несравненно важнее чтения книг по социализму. Сочинение, большая книга, резюмирует идеал, нарождающихся в человечестве с придачей аргументов, более или менее умно придуманных автором. Рабочая социалистическая газета дает просто факты

знакомясь с которыми мы можем составить себе приблизительное понятие об этом интеграле воль в данном направлении. Так, в метеорологии невозможно судить о предстоящей погоде, не зная, сколько есть шансов, чтобы барометрический максимум такого-то рода появился в данном месяце в такой-то части Европы.

Чем больше я читал, тем сильнее я убеждался, что предо мною новый для меня мир, совершенно неизвестный ученым авторам социологических теорий. Мир этот я мог изучать только проживши среди рабочего Интернационала и присматриваясь к его повседневной жизни, поэтому я решил посвятить такому изучению два—три месяца. Мои русские знакомые одобрили мой план, и после нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала.

---

2. Из встреч с Тургеневым и Антокольским.

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже болен и мучился мыслью, что его долг—написать Александу III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политики последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне: „Чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать“. В действительности, он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бесполезно: Александр III манифестом об‘явил о своем намерении остаться самодержавным правителем России.

Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок.—„Да... но это не то, что нужно“, заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами... Точных его слов не могу припомнить, но смысл его значения врезался мне в память. К сожалению, кто-то вошедший в кабинет прервал наш разговор, и впоследствии я не раз спрашивал себя: „что же такое он хотел сказать?“

И вот через несколько времени после его смерти появился его рассказ, продиктованный им перед смертью г-же Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком конокрадом...

Известно, как Тургенев любил искусство; и, когда он увидал в Антокольском действительно великого художника, он

с восторгом говорил о нем. „Я не знаю, встречал ли я в жизни гениального человека, или нет, но если встретил, то это был Антокольский“,—говорил мне Тургенев. И тут же, смеясь, прибавил: „и заметьте, ни на одном языке правильно не говорит. По-русски и по-французски говорит ужасно... но зато скульптор—великий“. И когда я сказал Тургеневу, до чего я еще совсем юношей восторгался „Иваном Грозным“ Антокольского, и что мне особенно понравилась его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую „Христос перед народом“. Я совестился итти и, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет П. Л. Лаврова и меня в мастерскую Антокольского.

Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы, вопиющей: „распни его!“ В то же время фигура Христа поражает своей мощью, особенно, если смотреть сзади—кажется, что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками.

„А теперь посмотрите его сверху,—сказал мне Тургенев,—вы увидите, какая мощь, какое презрение в этой голове“...

И Тургенев стал просить у Антокольского лестницу, чтобы я мог увидеть эту голову сверху. Антокольский отнекивался.

„Да, нет, Иван Сергеевич, зачем“.

„Нет, нет,—настаивал Тургенев,—ему это нужно видеть: он революционер“.

И, действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И, стоя перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей...

П. Кропоткин.

П. А. Кропоткин, как характер *).

В гениальном юношеском творении Ницше—„Рождение трагедии“—есть, между прочим, одно утверждение, бросающее ослепительный свет на все разнообразие человеческих характеров. Это—утверждение о развитии всего искусства из основной антиномии человеческой природы, борьбы в ней двух начал: духа аполлинического и духа дионисийского.

*) Отрывок из лекции, прочитанной в Петр.-Разум. с.-хов. академии

Эта борьба есть величайшая организующая жизненная сила. Все достигнутое человеческим гением есть только продукт этого грандиозного турнира.

Что такое аполлинический дух?

Дух—пластики, оформления, организации. В аполлиническом творчестве все ясно, трезво, уравновешено; все—закон, все—мера. Горячий энтузиазм творца сдерживается мудростью самообладания. Все подчинено заранее избранному, строго отвечающему теме ритму. Восторг и гнев замкнуты в необходимые логические и психологические пределы.

Аполлинический дух—есть дух солнца, никогда не изменяющего своему назначению, солнца, остающегося всегда символом мощи, ясности, яркости, горения, высоты под'ема.

Разумеется, за аполлинической ясностью, за кажущейся аполлинической простотой может крыться огромный, сложный, широчайший диапазон человеческих исканий, но они все подчинены единому верховному регулирующему центру. Есть основной, бесспорный, большой путь, и никакие красоты случайно бегущей мимо дороги не увлекут с раз избранного пути мыслителя аполлинического типа.

Лик Диониса—не только противоречив, но обратен, противоположен, враждебен солнцу. Он—неисследим, безобразен, стихиен, переступает все пределы, пренебрегает мерой и весами. То пьяное упоение страстями, разгул разнузданных инстинктов, то услаждение страданием и болью, но всегда во всем—стремление выйти из себя, выступить за положенные природой и разумом грани, разбить стеснительную оболочку „я“ в порыве к сверхъестественному.

В этих двух полюсах замкнуто все человечество. Все человеческие характеры—бесконечные варианты основных типов Аполлона и Диониса.

В полном категорическом выражении оба типа--равно прекрасны, какие бы высокие этические и эстетические критерии мы ни прилагали к их оценке. Однако, начиная с истоков человеческой мысли, идеалом ее был всегда тип аполлинический, импонировавший человеческому разуму и человеческому чувству своей внутренней логикой, своей непогрешимостью. Стало почти традиционным верованием, убеждением, что аполлинический дух—всегда победитель. Дионисийский дух—насыщенный актуализмом, дерзающий разом на вершины и бездны, таит в себе возможности всепокоряющих взлетов, но и головокружительных падений. Аполлинический дух не падает никогда. Он светится ровным светом верящего, не сомневающегося в себе творца.

П. А. Кропоткин—был редким живым воплощением этого аполлинического духа. С ног до головы он был вооружен солнечной трезвостью, постоянством, непоколебимой уверен-

ностью в своих целях и средствах, редчайшим умением отмести лишнее своим задачам, сосредоточить в творчестве внимание на материале, строго необходимом.

Среди исторических фигур трудно подыскать лицо более подходящее к типу „совершенного человека“, в классическом аристотелевском смысле этого слова, т.-е. человека, осознавшего и осуществляющего цели, поставленные ему природой, чем П. А. Кропоткин.

В рационалистических учениях Аристотеля и Кропоткина—добродетель, блаженство, совершенство есть уменье, уменье отыскать единственно верный, подлинный путь, ведущий к единственно важной и достойной человека цели. Отсюда—чистота, простота, чувство меры—суть признаки правильного, истинного, совершенного учения. Именно в этом смысле учил Аристотель о „срединности“.—„Добродетель и есть срединность—ибо она, по существу, стремится к среднему“; „честные люди просты, дурные—сложны“ *).

Но гармонизм П. А. был некоторым выводом, синтезом слагающих черт в его характере.

Что было в нем доминирующей чертой?

По-моему, чувство молодости, неизменившая ему до конца дней свежесть чувств, не только формально-пленительные, но определявшие действительное отношение П. А. к исследуемым им проблемам.

Огромный опыт жизни и научных знаний, казалось, должен был невольно—если не воспитывать в нем скептицизм, то, по крайней мере, притушить юношеский энтузиазм. Но для П. А. закона лет не существует. В последних своих произведениях, в неоконченной, являющейся духовным его завещанием, „Этике“ он с такой же горячностью, такой же категоричностью защищает свои ценности, как делал это чуть ли не пол столетия тому назад.

Вступление к „Этике“ переполнено восторгом перед эмпирическими успехами человечества, перед научным прогрессом, перед огромностью завоеваний естественных наук. Научное знание—всемогуще, оно раскрывает все двери, все обливает своим немеркнущим светом, оно—универсальный ключ к постижению всего, что мы лишь фигурально, только в силу временного несовершенства наших знаний зовем „тайнами природы“. Сложную, в гносеологическом и психологическом смыслах, проблему о вере и знании он разрешает категорическим отрицанием всяких „вер“, „интуиций“, „метафизик“, „индетерминизмов“, „спиритуализмов“ и пр. Не менее сложная проблема этики представляется ему теоретически и практически разрешимой, если эту „отрасль знания“ поставить „в соответствие

*) Цит. по книге В. Я. Железнова. Экономическое мировоззрение древних греков. М. 1916, стр. 161—162.

с современным состоянием науки и использовать ее завоевания".

Так, при всей огромности своего кругозора, при редком универсализме знаний—он не знает никаких сомнений. Ему—все ясно. Он допускает один культ—культ теоретического рассудочного знания. И поразительны у него—острота и свежесть этого чувства. Никогда удивление перед достижениями человеческого разума и удовлетворение ими не переходит у него в обывательское спокойствие, привычную уверенность, рутину. Он—всегда не насыщен. У последней черты жизни он все еще проектирует будущие завоевания и раскрывает дальнейшие новые горизонты, ждущие человечество

Но как и свойственно подлинному аполлиническому духу, нигде восторг перед любимым не переходит у П. А. в истерику, исступление, в котором вера в науку превращалась бы в слепой фетишизм, нечто самодовлеющее, утопляющее в безграничном преклонении к ней и самого творца ее—человека. Неизменяющая П. А. трезвость властно говорит ему, что высшей целью, в пределах доступного нам опыта, является сам человек; прогресс научных знаний вырастает стихийно из человеческого общества, как мощное орудие взаимопомощи, солидарности, любви. Так культурные ценности, которыми пламенел П. А. всю жизнь—и нет ни одного анархического учения, которое было бы так напитано культурным элементом—получают надлежащие место в его филисофии истории.

Молодость П. А.—не только в отсутствии скептицизма.

Она—также в специфической наивности, наивности великой мысли, которая, чуждаясь чрезмерной многосторонности, чрезмерного критицизма, убивающего живое творчество, готова признать свои интуици, свой опыт, свои открытия за единственно, действительно верное. Эта великолепная смелость, характеризующая равно и молодость, и творчество гения, не раз переходила у него—я бы сказал—в своеобразную ограниченность, неспособность, невозможность для него понять некоторые, волнующие человечество, моменты.

Все трансцендентное отталкивает его, вызывая в нем гнев, насмешку, пренебрежение. Неопределенному, чувственно неосязаемому—не должно быть места. Смутное томление, искания „потустороннего", „касания миров иных" и пр.—продукт нашей умственной слабости, вернее слабости нашего вооружения. Не только мистика, но и чисто-формально логическое, оторванное от жизни знание, непроверяемое опытом, есть тьма. Но придут опыт, контроль разума,—и скроется тьма. Да здравствует солнце!

И еще больше, еще полнее говорит аполлинический дух П. А. в мудром самообладании, с которым он подходит к величайшей ценности анархического мировоззрения вообще — человеку.

Его философия истории — протест против антропоцентризма, гимн вселенской федерации бесконечно малых. Он — безжалостен к себялюбивому, ограниченному, неизбежно бесплодному индивидуализму, он разрушает все иллюзии парящего „я". Для него и человек существует не сам по себе, а только, как любящий, справедливый сын человечества. „Современная наука—писал он—дала человеку очень ценный урок скромности. Она учит его считать себя бесконечно малою частичкою вселенной... Она учит его понимать, что без великого целого наше „я"—ничто, что „я" не может даже определить себя без некоторого „ты".

И не взирая на то, что стихия свободы, стихия личного освобождения есть то первозданное, из чего вырастает все анархическое мироощущение—П. А. в угол последнего ставит не личное, а массовое начало.

Творческая сила масс—вот источник всего действительно разумного, благого, освобождающего, подлинно анархического. Индивидуальность — хаотична. Она — океан нерегулируемых, в себе лежащих устремлений, то фейерверком вскидывающихся вверх, то камнем падающих вниз. В ней также: восторг под'ема, бесстрашие и слияние с миром, как пучины оппортунизма, пугливое бегство от мира, аскеза. И потому, как ни дорога нам индивидуальность, как ни заразительны ее радости и песни, как ни убедительны страдания и кровь, не ей, не этому, вечно пружинящему, началу вверяет Кропоткин регулирующую роль. В массах с их медленной, но прочной поступью—критерии разума. „Народный инстинкт никогда не ошибается".—Каковы бы ни были трудности на пути творящих масс, каковы бы ни были тормозы, действующие в их собственных рядах, их путь—единственно прямой, единственно верный.

И потому для П. А. невозможны—надрыв, растворение мира в стихиях собственного „я", гипертрофия личного начала, неотделимые от чувственно-экстатического лика Диониса. Для него мир—симфония, отдельный человек—лишь участник великого вселенского хора.

Самое большое из всего сделанного Кропоткиным, его учение о взаимопомощи есть также убедительное свидетельство торжества в нем аполлинического духа. По-нятие и самый термин звучат той же непоколебимой трезвостью, дышат тем же мудрым духом „срединности", что и все другие ходы его мысли.

Взаимопомощь — не есть экстаз самозабвения, не истерический припадок самоотречения, не жертвенное самосожжение...

Кропоткин менее всего ищет таких жертв, таких припадков любви, в которых сгорала бы индивидуальность. Нэ взаимопомощь—не есть также расчет дельца, спекуляция ревнивого соседа, услуга ростовщика, ибо в их выкладках говорит только дух торгаша-предателя.

Взаимопомощь—есть инстинкт, космическая данность, присущая, в той или другой степени, каждому живому существу, только в человеческом сознании выросшая до высоты принципа, исторически сопутствующего человеку на всех фазах его социального творчества.

Проповедь взаимопомощи—не особенность, но сущность анархического мироощущения П. А. Кропоткина.

Основной пафос анархизма—в разрушении. Не самое-ли упоительное в учении и жизни Бакунина—его перманентный бунт, не только явное восстание против законов, но тайный мятеж и против „закона". У него, об'являющего себя материалистом, позитивистом и пр. и пр., наряду с великолепной метафизикой мировой причинности, есть неудержные прорывы причинности—самодовлеющее начало бунта, выдвигающего человека из общего строя природы и протестующего одновременно с протестом против правительств и их идеологов, также против автоматизма наших собственных понятий. Бунтарь, отметающий не позитивное только, не привычные наши институты безопасности и благоустройства, но подкапывающий самые истоки нашей мысли—разумеется, прежде всего, апостол отрицания.

Обратить же все существующее и изжитое—в развалины, в пыль, в ней схоронить терзания противоречий—вот „я" Бакунина.

Кропоткин мудро измерил мир, прежде чем бросить мироборческий вызов. И, измерив, взвесил опасность стихийного разрушения и уравновесил его пафосом, более близким и органичным ему—пафосом созидания.

В логические термины не укладывается разложение единого человеческого акта, синтетического творчества на элементы разрушения и созидания. Они—неотделимы и живут один в другом. Нельзя вызвать один призрак, чтобы ему не сопутствовала его могущественная тень.

И все же, в образе Кропоткина, невольно поддаешься обаянию его созидающего лика. Кропоткин знает соблазны лика отрицающего, заразительность его романтических взлетов, его почти мистических упований и его—так часто—реальной безответственности. И он не устает напоминать об утверждении, созидании новых форм, закреплении побед. Из глубины своего интуитивного и исторического опыта он учит: „...разрушения недостаточно. Нужно также и уметь создавать.

Народ всегда оказывался обманутым во всех революциях именно потому, что недостаточно думал об этом созидании".

И здесь, как всегда во всем, он прежде всего—послушный, почти благоговейный ученик природы. Он готов изгнать из своего мироощущения все суб'ективное, чтобы доставить торжество об'ективному, представляющемуся ему единственно правдивым, описанию того, что было, что есть и что будет.

Анархическое мировоззрение, как и всякое социальное мировоззрение, каковы бы ни были его претензии на научность, есть прежде всего философия ценностей. Принцип прямой или замаскированной целесообразности незримо присутствует в нем.

Но Кропоткин—здесь равно его сила и слабость—боится, не хочет этого признания. Не доверяя ничему суб'ективному, могущему исказить для него мировую гармонию, идет он—к изучению человеческого общества с его непрекращающейся борьбой целей—с отметающим крайности естественно-научным методом, к человеку с ровным, любовно-солнечным чувством, как к любой бесконечно малой слагающей мироздания.

И здесь П. А. — прекрасное воплощение Аполлинического духа.

Алексей Боровой.

Воспоминания Н. А. Кропоткина.

Из „Записок" П. А. видно, какая горячая дружба связывала его с братом Александром, моим отцом, понятно поэтому, что образ дяди с самого раннего детства моего присутствовал в нашей семье. Силою обстоятельств П. А. был разлучен с моим отцом долгое время, а после побега П. А. заграницу в 1876 г. братьям уже не суждено было увидаться: мой отец умер в 1886 г. в Томске. Даже переписка с П. А. была почти невозможна, так как письма, и отправляемые, и получаемые отцом, всегда могли попасть в руки жандармов.

Летом 1886 года моя мать и трое нас, детей, из которых мне, старшему, было около восьми лет, отправились из Томска в Россию. Через три месяца после нашего от'езда должен был приехать к нам отец, срок ссылки которого к этому времени кончался.

По дороге мы заехали в г. Волчанск, Харьковской губернии, где брат моей матери был председателем земской управы. В Волчанск приехала и сестра матери, Павлинова, и ей выпало на долю сообщить нашей матери ужасную весть о трагической смерти ее мужа в Томске: вскоре после нашего от'езда он застрелился.

Горе моей матери не имело границ. Помимо потери любимого человека, да еще так трагически, она осталась почти

без средств, с тремя малолетними детьми, беспомощная, непривыкшая к борьбе с тяжелыми условиями жизни.

Нам, детям, ничего не сообщили о смерти отца и мы узнали о ней только спустя несколько месяцев, уже в Лондоне, у Петра Алексеевича, куда уехали по его вызову, чтобы навсегда с ним поселиться.

К осени мы с матерью, няней и сестрой матери С. Н. Лавровой, большим другом и последовательницей П. А., приехали в маленький городок Гарро близ Лондона, где тогда жил Петр Алексеевич.

Детские воспоминания того времени оставили у меня образ живого, доброго дяди, очень любившего нас.

Он в то время увлекался ручным трудом, столярничал, учил нас с братом разводить огород и радовался, что дозрел в лондонском климате виноград, выращиваемый им в неотапливаемой стеклянной оранжерейке, в роде терраски при доме. Жил он чрезвычайно скромно,—в доме было очень пусто и просто; целые дни он проводил в своем кабинете с самодельной мебелью за книгой и пером. Ко времени нашего приезда П. А. жил только со своей женой и одной прислугой, англичанкой, которую вскоре заменила наша няня. В этот же год у него родилась дочь, Саша, единственный его ребенок, безумно и слепо любимый им всю жизнь.

Из наиболее близких друзей П. А. в то время часто бывали у него Кравчинский (Степняк) и его милая, добрая жена, Фанни, удивительно тепло к нам относившаяся, Н. В. Чайковский с семьей, живший также в Гарро, и инженер Линев, русский эмигрант.

Я помню, дядя поражал нас своей ловкостью в физических упражнениях, в езде на велосипеде, которые тогда были внове еще и в Англии и имели либо три колеса, либо два, из которых одно, переднее, было огромное, а заднее совсем маленькое. Помню, как он одержал над всеми верх в стрельбе, к великой нашей гордости, из винтовки разбивая бутылки, которые висели на высокой перекладине на лугу близ нашего дома, во время какого то праздника. Он учил нас по всем правилам фортификации,—науки, к которой относился с великим уважением, считая ее необходимой для революционера, — строить укрепления из снега. Зима 1886—87 г. в Англии была исключительно снежная, что, казалось, веселым праздником англичанам, обычно мокнущим зимой под дождями и изморозью. Мы устраивали отчаянные баталии со своими друзьями,—английскими мальчишками при благосклонном участии дяди.

Вообще же, повидимому, мы сильно нарушали строгий, трудовой уклад жизни дядиного дома своей беспорядочностью гамом, ордами друзей, бивших окна и ломавших садик и в то же время своей барской изнеженностью и беспомощностью;—

таково было воспитание нашего отца и матери. П. А. попал между двух огней,—любимой и любящей женой с новорожденным ребенком на руках и настоящей русской недисциплинированной компанией родственников. Все это осложнялось еще довольно тяжелыми материальными условиями эмигрантской жизни, а, непривыкшие к европейской экономии и порядку, наша няня и тетя в конец подрывали скудный дядин обиход. И вот, после 8-ми месячной совместной жизни с П. А., наша семья и тетка С. Н. Лаврова уехали в Россию.

Мы расстались с семьей дяди друзьями и любимыми родными, в результате спокойного решения, что так будет лучше для обеих сторон.

Наша семья вернулась в Россию и, после разных скитаний, поселилась в Твери, потому что тут жили близкие друзья отца по сибирской ссылке.

П. А. долгое время помогал нашей семье, посылая ежемесячно некоторую сумму денег.

Образ его, как близкого, любимого дяди, все время оставался в нашей семье; переписка не была особенно обильной, но письма его всегда дышали нежностью и любовью к детям его брата.

Знание, наука всегда были, я скажу, верою П. А-ча и путь к осуществлению его социальных идеалов, он видел в знании, прогрессе, умственном, техническом освобождении разума людей через посредство знания от тьмы невежества и вековых предрассудков. Как согласуется с этим один из его первых подарков мне, 10-ти летнему мальчику, посланный в Тверь из далекого Лондона;—это была готовальня с надписью: „Учись! знание сила!“.

Годы шли. П. А. строил свое теоретическое здание научного анархизма, принимал живое участие в революционной, научной и журнальной жизни Европы. Мы росли и жили в России с ее противоречиями, аморфностью и темными путями.

Только в 1904 году я собрался к дяде в Лондон по семейным делам.

Приехал к январю 1905 г., проведя месяца два в Париже.

Это было интересное время в России: шла японская война и наступала „весна“ Святополк-Мирского. Тяжелый политический гнет несколько смягчился, разрешались всевозможные собрания, с‘езды, и пресса чувствовала себя свободнее.

Я жил зиму 1903—04 года в Петербурге, а лето в деревне в Тверской губернии, и потому понятен тот интерес, с каким накинулись на меня эмигранты в Париже, с которыми я, между прочим, впервые тогда встретился.

Мое интервью вовсе их не удовлетворило, т.-к. я чрезвычайно мало надеялся на возможность серьезного и прочного

переворота, зная общее невежество и отсталость масс и оторванность от них и от жизни нашей интеллигенции Эмигранты оставили меня и стали между собою рядить о судьбах России и ее настроениях. Я же дивился их необыкновенной „беспочвенности“; их, как казалось мне, полному непониманию души русского народа. „Каков же дядя? думалось мне, тридцать уже лет не бывший в России, когда эти бывают там и так мало ее понимают и даже теряют русский язык?“

Велико было мое удивление, когда в дяде я нашел прежде всего настоящего русского. Он удивительно чувствовал Россию; он понимал хорошо ее быт и нравы, самых различных слоев народа; необыкновенно живо передавал народный говор; русскую природу он все время как будто видел перед собою и любил ее страстно. Несмотря на некоторую, как казалось мне, идеализацию русского народа, он гораздо трезвее парижских эмигрантов смотрел на возможное будущее России.

Я застал его в постели выздоравливающим от воспаления легких. В это время он жил в городке Бромлей, близ Лондона, в небольшом коттэдже со своей женою, дочерью, которой тогда шел семнадцатый год, и прислугой француженкой Marie, о которой расскажу ниже.

Он жадно расспрашивал меня о России и вовсе не так, как парижские эмигранты, больше интересовавшиеся банкетами в Петербурге и столичными слухами. Он расспрашивал о крестьянах, их обиходе, разговорах, о студентах, о помещичьем быте,—при чем обнаруживал необычайную, несколько восторженную любовь к крестьянину, но терпимо относился и к среде помещиков, хорошо зная ее и потому не рисуя в одних черных красках.

Он говорил мне, что всегдашняя его мечта,—это вернуться в Россию и издавать крестьянскую газету. Жаль, что последнего ему не удалось осуществить. Газета была бы во всяком случае интересна и уже, конечно, понятна народу. Он говорил, что когда пишет, то всегда у него есть мысль, что это „пригодится и нам“.

Это говорил интернационалист в самом широком значении этого слова, человек, тесно связанный с революционным движением во всей Европе. И по воле судьбы ему почти все его книги пришлось писать на французском и английском языках,—даже свои воспоминания!

Язык его был прекрасный, — живой, образный, чистый. Таким языком говорили наши высококультурные эмигранты и узники, надолго оторванные от России, напр., Вера Засулич. Язык его был совершенно чужд тому косноязычию, с массой иностранных и придуманных слов, которыми грешила и грешит наша интеллигенция и в речах и на бумаге.

Его дочь, Саша, родившаяся и выросшая в Англии, в 1905 г. говорила по-русски не очень хорошо, но П. А. и его жена настойчиво разговаривали с нею по-русски.

Во время этого моего пребывания у П. А., в Петербурге произошла Гапоновская история. Английские газеты чрезвычайно подробно описывали все события и приводили прокламации Гапона. П. А., лежа в постели, больной, был необычайно возбужден; он читал мне, незнавшему английского языка, по-русски английские газеты, — совершенно незаметно было, что он их переводит. Он так удачно находил слова для передачи пламенных прокламаций Гапона, что после, когда я читал их по русски, я увидал, что это были те самые слова, что я слышал от дяди в Бромлее. „Подожди, теперь дело за Москвой!"—сказал П. А.; он, повидимому, предчувствовал московское восстание.

Все эти дни дом П. А. осаждали бесчисленные репортеры, требуя от него интервью о русских событиях. Он их не принимал и единственное, что они получили от П А-ча, это коротенькую записку, написанную при мне карандашом; на ней стояло: „Долой Романовых!"

Я привез и передал дяде толстую пачку писем, написанных им самим и моим отцом друг другу с детских еще их лет, и тетрадки их отроческих рукописных журналов. П. А. в первый же день моего приезда страстно углубился в их чтение; вся юность и детство проходили у него перед глазами при чтении этих памятников прошлого. Старик, больной, в изгнании в чужом краю видел себя и близких в Москве в Левшинском переулке, в деревне, в корпусе, после 30 лет жизни на чужбине и более полувека от времен детства.

Следующее мое свидание с П. А. в 1909 г. в местности Лондона Хайгейт. Это было как и в предыдущий раз зимой. Я нашел дядю бодрым, здоровым, но озабоченным. Причину последнего я узнал позднее из его писем,—это было его желание на время отправить свою уже двадцатилетнюю дочь Сашу из Англии в Россию. Я увез ее к весне 1909 г. в Россию, где она и провела в разных местах время до глубокой осени.

Дядя вел все тот же регулярный трудовой образ жизни. Целые дни он проводил у себя в кабинете, заваленном и заставленном массой книг, и появлялся только к столу.

Раз в неделю, в воскресение, он принимал всех, кто хотел притти. Общество, бывавшее у него, было необычайно разнообразно и разношерстно—и русские эмигранты, и студенты, и русские господа, приезжавшие в Англию, и артисты, и анархисты: французы и итальянцы и англичане, из которых в то время очень многие увлекались его книгой „Поля, фабрики и мастерские", вызвавшей вместе с Рескином нечто в роде общественного движения к сельской жизни.

П. А. очень любил музыку и иногда не без вкуса играл на пианино, стоявшем в его гостиной.

Когда П. А. не был занят или озабочен, он был чрезвычайно весел, любил шутить, смеяться, был всегда необыкновенно подвижен, можно сказать, что почти бегал бегом по лестнице и комнатам. В это время ему шел 68-ой год, но он, кроме седой бороды и волос, почти не носил признаков старости: довольно плотная, живая и подвижная фигура, румянец, совершенно юные, живые, очень красивые, темно-голубые глаза, которые иногда казались почти черными.

Корреспонденция его была огромная; ежедневно ему приносили пачку писем, как в какое-нибудь учреждение, со всех концов земного шара, на всех языках и с самыми невиданными марками.

По внешности и обращению П. А. был любезным, изящным человеком; чувствовалось его военно-светское воспитание и он походил на переодетого военного. Он был находчив и остроумен; в свое время был отличным танцором и наездником.

Был всегда любезен с окружающими, а по отношению к женщинам у него была немного старомодная, рыцарская манера. Но того же он ждал и требовал и ото всех. Я сказал бы, что в своей, как это называют, „аристократической" манере он был самый крайний демократ, считая, что все не только должны, но и могут всегда усвоить соответствующую манеру в общежитии.

Очень характерны для него были отношения его к их полу-прислуге, полу-члену семьи, француженке Marie. П. А., как горячий проповедник идеи о доброй природе человека и анархист,—считал преступность только виною несправедливых форм жизни и в согласии с этим взял в свой дом Marie, которая у себя на родине многократно попадалась в воровстве.

К сожалению, она не оставила этого своего обыкновения в доме П. А-ча, думавшего, что совместная жизнь, простая, трудовая и идейная, исправит ее. Он предупреждал своих посетителей, чтобы они не оставляли в прихожей в карманах верхнего платья кошельков и ценных вещей.

Я узнал об этом однажды, когда П. А., сидя со мною в столовой, вдруг выскочил в коридор и я услыхал его гневные крики. Оказывается, он услыхал шорох и застал Marie во время ревизии карманов моего пальто.

Его вера в добрую природу человека была так велика, что он долгие годы терпел в своем доме неисправимую воровку, не раз ставившую его в неловкое положение по отношению к его гостям. Marie любила П. А., как отца.

Насколько велика была доброта души и мягкость П. А-ча, настолько же велики были и его ненависть и вражда к тому, что он считал вредным для развития общества. Всякое попрание свободы, личности, узколобие, доктринерство, самодовольство, невежество и предрассудки не имели, кажется, врагов более страстных и горячих, чем П. А. У него был темперамент бойца—смелый, буйный и страстный.

Свободное знание, критика, изобретательность, взаимная помощь и общение,—вот те средства, которые он всегда и во всем повседневном обиходе, как и в своих книгах, проповедывал для достижения лучшей жизни. Постоянный страстный бунт, „перманентная революция“ против всякого угнетения, всякого узколобия, невежества и предрассудков,—вот тот путь к которому он звал и по которому шел сам всю свою долгую жизнь.

Помню как однажды, сидя с дядей в столовой, мы услыхали стук молотка в дверь; П. А. вышел открыть и тотчас я услыхал его гневный голос и какой-то шум. Я вышел в прихожую и увидел незнакомого здорового англичанина, который приоткрыл дверь и поставил ногу так, что П. А. не мог закрыть двери. П. А. выходил из себя, осыпал бранью англичанина и старался выпихнуть его на улицу. А этот прехладнокровно продолжал держать дверь, не входя, но и не уступая. Дело стало принимать такой оборот, что я боялся возможности драки и, хотя не понимал в чем дело, на всякий случай взял толстую трость из стоявших тут же в прихожей. Наконец, англичанин отступил, П. А. захлопнул за ним дверь с шумом, крикнув ему на дорогу какое то ругательство.

Он долго не мог успокоиться и, наконец, на мои расспросы ответил, что это было какое-то государственное должностное лицо, доставлявшее повестку, а вина его была в том, что он, вместо того, чтобы опустить ее в почтовый ящик, без достаточных оснований лезет в чужой дом. Это было нарушением одного из элементов гражданской свободы,—неприкосновенности жилища. Тут я узнал в жизни то, о чем раньше лишь читал. Гражданин Англии имеет право стрелять в каждого, кто без достаточных формальных оснований и против воли хозяина входит в дом. Основания же эти так трудно получить в этой свободной стране, что представители власти часто предпочитают ждать на улице, чтобы арестовать преступника, чем хлопотать о разрешении войти к нему в дом.

Тут я понял, что, пожалуй, только в Англии, да и то, конечно, со многими оговорками, мог ужиться так долго П. А. Не даром он был изгнан из двух республик—Швейцарии и Франции, а в последней просидел даже три года в тюрьме.

Мы много беседовали с П. А. и о России, и о политике, и об искусстве; он вспоминал своих родственников, рассказывал события из своей богатой и разнообразной жизни.

По поводу искусства как-то в разговоре о „Воскресении“ Толстого, П. А. сказал приблизительно следующее: „Если бы я мог писать стихи и романы, я больше ничего не делал бы. Насколько меньше влияние наше, ученых и журналистов, чем влияние талантливого поэта, на человечество. Путем искусства скорее можно бы приблизить общество к нашим социальным идеалам“.

Есть ученые люди, от которых мы слышим постоянно: „тот то доказал", „такой то установил", „это окончательно установленно" и т. п. Они, обладая умом посредственным, темпераментом благонадежным, носят с собой особый ящик, где сложены все премудрости; на всякий случай жизни они вынимают оттуда подходящее и подносят к вашему носу разные схемы, теории и „тьму жалких истин"; вы не видите работы их ума, они давят вас своею и чужой эрудицией.

Петр Алексеевич буквально ненавидел таких людей— „ученых дураков", доктринеров, начетчиков. Для него не было авторитетов, принимаемых на веру. Когда он говорил, вам казалось, что он только сейчас сообразил то, что он утверждает, вы видели игру его ума, его критику. И в то же время он был человек выдающихся знаний и образования во многих областях и крупный ученый в области географии и геологии.

Его эрудиция не была торбой, которую он таскал с собой, а точилом, на котором он изощрил свой ум, свою критику.

Я навестил П. А. опять в Лондоне еще раз в 1911 г. Ему было уже 69 лет, но это был все тот же бодрый, живой, страстный, готовый и к беззаботному смеху, и гневу, и шутке, и к задушевной беседе свежий мужчина.

Конечно, это в значительной мере потому, что он жил в в Англии, с ее культурным и здоровыи укладом и потому, что судьба послала ему в лице жены настоящего друга и хранителя, принимавшего на себя многое, что так треплет человека. У нас, в России, с нашим разгильдяйством, „мирской" жизнью и бесцеремонностью П. А. давно был бы разбит и „с'еден" и своими друзьями и врагами.

Наконец, в 1917 г. осуществились мечты П. А.—вспыхнула революция, опрокинув старый, ненавистный ему порядок, и он вернулся в Москву.

Я, живя в другом городе, встречал дядю за эти годы не часто. Видел его раза два в Москве и раза три был у него в Дмитрове, где он жил с 1918 г. безвыездно.

Толком поговорить с ним мне не пришлось ни разу,— встречались в Москве на людях, и вообще он неохотно высказывался в эти дни: он как-то присматривался к окружающему и, как мне кажется, был в некотором недоумении.

Отношение его к советской власти, на мой взгляд, было двойственное. С одной стороны, он приветствовал смелость русской революции в сокрушении до конца старого порядка, с другой, как анархист, не мог мириться с централистически-государственной политикой и с „истинно-русскими" методами управления, в конец попирающими свободу, самодеятельность и человеческую личность.

Он не мирился с уничтожением ростков общественности,—единственно того, что, по его мнению, всегда двигало человечество,—местного самоуправления и вольной кооперации.

Жил он в нужде, хотя и не в крайней, какую мы видели за эти годы. Больше всего ему помогали кооператоры. Он никогда не жаловался на недостатки, дороговизну и пр., что делали почти все,—хорошо понимая, что во время революции иначе и не бывает.

Помню мои мысли у гроба П. А., когда он стоял в зале бывшего Дворянского собрания, в той самой, где было его первое выступление в свет в детстве. Припомнились и его горячие речи, и бесконечно добрый взгляд прекрасных глаз, и его любовь к жизни с ее радостями и красотой, и неистребимая вера в добрую природу человека, и Marie, и англичанин. Он всю свою долгую жизнь шел честно и смело своей дорогой, не сворачивая с нее, но и не будучи в то же время узким фанатиком.

П. А. был прежде всего и более всего далекой путеводной звездой, огнем, озаряющим дорогу к далекой цели для нас, идущих тернистыми и кровавыми тропами жизни.

Ник. Кропоткин.

Революционеры и писатели Запада о П. А. Кропоткине.

Жорж Ивто.

— Величественно прожив целую жизнь, как человек, исполненный добра, как ученый и как апостол, угас, в возрасте 78 лет, тот, кто был нашим духовным отцом, всех нас, сторонников свободного коммунизма.

Можно дать для настоящего и последующих поколений описание жизни и деятельности Кропоткина. Но мы не в силах передать другим то могучее, неоценимое влияние его анархической философии, которое мы испытали на себе.

Те представители рабочего класса, которые еще до войны умели мыслить и действовать на почве экономической, синдикальной и свободолюбивой, наилучшим образом проникались учением Кропоткина. Его книги вполне на своем месте в библиотеках синдикалистов.

Лично я, помимо моего глубокого уважения к Кропоткину, как к человеку, и преклоняясь перед его творениями, храню в уме и сердце воспоминания о нем, переданные мне теми, кто наблюдал его и ухаживал за ним в тюрьме Клерво. Они доказывают, насколько человек большого сердца, силь-

ного характера и твердых убеждений может иметь благотворное влияние даже на тех, кому платят за то, чтобы они плохо к нему относились.

Вместе с Бакуниным и Толстым, Крапоткин образует троицу, которую Россия дала миру до своей революции для его освободительного движения. Вдохновляясь примером и учением этих трех необыкновенных людей, мы должны без колебания идти на завоевание свободы.

Бакунин был Действием, Кропоткин—Знанием и Толстой—Добром. Разве нельзя с этими силами построить мир?

Рудольф Роккер.

— Кропоткин был огромным событием в моей жизни. Его „Взаимопомощь“ произвела на меня, тогда сторонника марксизма, впечатление настоящего откровения. Эта грандиозная философия человеческой солидарности и созидательной силы, которая живет и действует в человеческих массах, открыла мне новые горизонты в эволюции человечества и явилась для меня истинной основой свободного (безгосударственного) социализма.

Кропоткин был не только производственником и истолкователем этой новой доктрины, он был сам наиболее совершенным живым воплощением того глубокого чувства солидарности, в котором выявляется стремление, присущее всеобщему развитию. Все его существо было гармоническим соединением великого мыслителя и вдохновенного идеалиста, полного самой чистой любви к ближнему. Он был замечательно цельным человеком, и Оскар Уайльд был, может быть, прав, указывая на него, как на одного из двух действительно счастливых людей, которых он встречал в своей жизни.

Кропоткин отличался не только проницательным умом, который умел производить точные исследования фактов, но обладал глубоким художественным чувством, придающим всем его творениям особую прелесть. В каждой его фразе чувствуется самое искренное убеждение, которое озоряет ярким светом жизни все, о чем он говорит.

Те, кто имел счастье считать себя в числе его личных друзей, почувствуют самым сильным образом, что потерял мир в лице этого человека, который был одной из самых значительных и выдающихся индивидуальностей нашего времени, одним из больших светочей, которые указывают путь к новому будущему, к новой, более высокой социальной культуре.

Георг Брандес.

— В 1906 г. датская колония в Лондоне выразила желание, чтобы я приехал в Лондон для произнесения речи на ежегодном празднике введения у нас конституции и просила меня указать нескольких лиц из моих друзей, присутствие которых

на этом празднестве могло бы доставить мне удовольствие. Я назвал только одно имя.

Так как Кропоткин, зная столь многое, понимал и скандинавские языки, я просил пригласить его на банкет. Он прислал Комитету вежливый отказ, мотивированный каким то случайным предлогом. Когда же я спросил его о настоящей причине отказа, он сказал следующее:

„Я не могу присутствовать на банкете, потому что там, без сомнения, будут произнесены тосты за королей Дании и Англии. Согласно моим убеждениям, я не встану при этом и внесу диссонанс в собрание. Месяц тому назад меня пригласили на банкет Географического О-ва в Лондоне. Председатель провозгласил тост за короля. Все встали. Я один остался сидеть. Создалось тягостное положение. Но я был еще более смущен, когда тотчас же вслед за этим председатель воскликнул „Да здравствует князь Кропоткин“—и при этом тосте все без исключения встали“.

Члены Географического Об-ва были люди с умом и сердцем. Они подали отличный пример. В обществе хороших людей, где бы то ни было на земле,—достаточно сказать: „Петр Кропоткин!“—и все без различия политических и социальных убеждений встанут глубоко тронутые.

Ромэн Роллан.

— С глубоким чувством вызываю я в своей памяти святую личность Кропоткина. Я хотел бы передать, чем была для меня его книга „Записки революционера“, какой яркий след оставила она в моей душе. Я не могу думать об этом иначе, как с чувством сыновней благодарности.

Я очень люблю Толстого, но мне часто казалось, что Кропоткин был тем, о чем Толстой только писал. Он просто и естественно воплотил в своей личности тот идеал моральной чистоты, спокойного ясного самоотречения и совершенной любви к людям, которого мятущийся гений Толстого хотел достичь во всю свою жизнь и достигал только в искусстве (кроме, может быть, исключительных моментов своей жизни, под влиянием могучего, но скоро проходящего порыва).

Я присоединяюсь к благоговейному чувству любви, с которым вы отдаете последний долг вашему великому другу.

Шарль Депланк *).

— Произведения Кропоткина содержат все, что люди должны знать и соблюдать, чтобы между ними установились братские отношения, направляемые чувством справедливости и об'единения в общем труде.

*) Французский рабочий синдикалист.

Его жизнь была примером и руководством. Он верил и учил нас верить, что люди могут сделаться добрыми и мудрыми, на деле проводя в жизнь начало свободы.

Энрико Малатеста.

— Огромный престиж Кропоткина вытекает из того, что в нем слиты в гармоническое целое ученый, писатель, пропагандист, друг и частный человек, и все это вместе составляет личность, которая является самой „человечной" из всех, которых я знал в жизни. Он любил людей. Все, что он думает и делает, вытекает из его доброты, из той великой любви к людям, ко всем людям, которая составляет основное свойство всего его существа.

Анри Барбюсс.

— Каждый человек с сердцем должен благоговейно склониться перед памятью того, кто ушел от нас, прожив и выстрадав самую замечательную жизнь апостола, какую только можно себе вообразить. Кропоткин представляет и всегда будет представлять собою символ того, кто встает во весь рост, прямо и честно, против окружающего зла и становится ярым разрушителем всего того, что стремится его подавить. Единство этого долгого, широкого и драгоценного существования, его безупречная гармония, мощь его никогда неиссякавшего гнева и возмущения против всех злоупотреблений и против всех несправедливостей, встречавшихся ему на каждом шагу, все это заставляет считать силу его ума и его духа более высокой, чем они могли бы быть на основе одних нравственных начал. Применимы ли высокие освободительные теории Кропоткина к современному человечеству, не стоят ли они слишком высоко по отношению к разным практическим соображениям, с которыми необходимо считаться в современных условиях? И тем не менее, все-таки светлый жизненный путь этого человека, который не хотел примириться с несправедливостью и столько лет боролся против нее, служит примером для всех направлений освободительного движения, в какие бы формы оно ни выливалось. Он показал, до какой степени ум и сердце способны оторваться от традиций, от освященных временем привычек, от установленных культов, чтобы указать сквозь завесу того, что есть, то, что должно быть. Эта красота души обладает способностью сообщаться другим, и непросвещенные массы нуждаются в этом, чтобы очеловечиться. Неизмеримо благотворное влияние таких примеров.

Час с Петром Кропоткиным *).

Хотя Кропоткин был уже целую неделю в Нью-Иорке, все же видеть его можно лишь „везде и нигде“. Ему не только приходилось делать научные доклады в „избранном“ обществе; мало того, что его заставляли выступать и говорить по английски в огромном зале, „акустика“ которого могла погубить и слона; мало того, что он должен был делать доклады на русском языке во втором, организованном, правда, в более подходящем месте, собрании, и устроили ему два „приема“, сопряженные с гонкой, которая одна могла сделать больным и двух сильных мужчин,—его буквально старались низвести до состояния „пленника“, „упрятывая“ так далеко, как только можно было.

Наконец, все препятствия к нашей встрече были устранены,—и наша беседа состоялась в отеле Герард, где жил Кропоткин. Я никогда не забуду того часа, который я провел с ним—а, может быть, и он не забудет его—ибо это была не пустая болтовня.

* * *

Ни мой отец, ни женщина никогда не прижимали меня к своей груди сердечнее, чем принял меня Кропоткин. Он пригласил меня к чаю, и после первых вопросов и ответов личного характера мы быстро перешли к настоящей теме нашего разговора.

— Что вы скажете теперь об американском движении?— спросил наш друг, а в чертах его лица светился уже другой вопрос: „Вы, Фома неверующий, у которого всегда вместо ответа имеется одно „No good“ (ничего хорошего)?

— — Мне жаль, ответил я, что я вынужден охладить ваш пыл. То, что вы видели и слышали здесь, не имеет абсолютно никакого отношения к американскому (английскому) анархическому движению. Собрания были совершенно интернационального характера. Они состояли из евреев, немцев, итальянцев, русских и т. д.

— Но мне говорили, что там было также очень много и „настоящих“ американцев,—возразил Кропоткин.

— Не говоря уже о том, ответил я, что около этого „очень много“ я поставил бы много вопросительных знаков, там, несомненно, присутствовали почти исключительно любопытные и любительницы сенсации; я знаю эту банду.

---

*) Эта беседа Петра Алексеевича и Джона Моста происходила в конце марта 1901 г. и была напечатана в газете Моста „Freihit“ 13 апреля того же года. Мы помещаем ее с небольшими сокращениями.

— Но меня уверяли даже в студенческих кругах, где я недавно был, что анархическая идея быстро пускает там корни.

— Милый друг, это попросту напоминает мне, как забавлялись сочинениями энциклопедистов аристократы перед началом великой французской революции. Это—литературное лакомство—спорт, и ничего больше.

По лицу Кропоткина скользнуло облако сомнения, и он кивнул, неприятно убежденный.

— Я скажу, продолжал я, еще больше того: уже 18 лет тому назад, когда я только что приехал в эту страну, меня всегда уверяли даже Labor Leaders (вожди рабочих), безразлично к каким консервативным организациям они принадлежали, что они совершенно согласны с нашими взглядами. Они поступали так отчасти, чтобы уклониться от аргументов, овладеть которыми они не способны, частью же из жалкого лицемерия. Ибо эти молодцы развращены до мозга костой.

— Да, да, это очевидно,—подтвердил Кропоткин.

— Когда я их спрашивал, продолжал я, почему они не приступают к пропаганде анархических идей, они просто пожимали плечами и отговаривались тем, что для этого еще не наступило время. В этой стране надо идти „Step by step" (шаг за шагом). И сегодня эти шельмы все еще делают первый шаг.

— Но нужно все вновь и вновь пытаться действовать при помощи пропаганды на английском языке.

— Конечно. Так постоянно и делается. За все время, пока я живу в этой стране, на каждом более или менее значительном собрании редко не говорилось, между прочим, и по английски—не говоря уже о печати. Товарищи всевозможных национальностей жертвовали огромные суммы для поддержания английских газет и распространения, кроме того, книг и брошюр—к сожалению, без значительного успеха.

— Именно потому,—заметил Кропоткин,—нужно еще гораздо больше агитировать.

— Это тоже придет, а сначала должны еще явиться агитаторы.

— Что вы этим хотите сказать?—спросил Кропоткин.

— Я думаю, что в настоящее время их пока совсем нет; по крайней мере, нет компетентных.

— Компетентных?

— Да, компетентных. Ибо „чужие" не импонируют американцам. На этом основании и я, например, в данном вопросе перенес центр тяжести на привлечение к делу американцев, обладающих способностью писать и говорить. Я привлек Парсонса в 1885 г., и он действовал блестяще, но, к сожалению, его повесили. Это был как раз человек, подходящий для того, чтобы пустить в ход английское движение. Я привлек и дру-

гих, например, Горзуха, Вальтера Фрумана и т. д. Но они скоро подпали соблазну политиков и предпочли золото коррупции нищете анархического агитатора. „That's american style" (это—американский стиль).

— Следовательно, положение безнадежно?

— Ничуть. Во первых, Америка совсем молодая страна, и к 30-ти годам рабочий еще легко может составить себе здесь независимое положение; поэтому только поздно начинают тут думать о подлинном рабочем движении, и до настоящего времени здесь не пошли дальше элементарной фазы чисто цеховых организаций. А, во вторых, ведь совсем не верно, что Америка чисто английская страна. Америка—страна интернациональная, и в особенности интернациональный характер носит промышленный пролетариат; поэтому было бы прямо преступлением за счет иностранной агитации вести исключительно английскую.

— Но ведь это, это же ошеломляюще! Я, по крайней мере, не думал, что здесь столь силен так называемый „чужой" элемент.

— Но это именно так. Возьмите, например, Нью-Иорк—и одинаково обстоит дело почти во всех больших городах и промышленных округах! Там немцев больше, чем в Гамбурге, чехов больше, чем в Пильзене, итальянцев больше, чем в Венеции, евреев больше, чем в Иерусалиме и т. д., и т. д. Я хотел однажды напечатать планы Нью-Иорка с разделением его на район по национальностям и подписать под ним: „А где же нью-йоркцы?" Ибо ирландцы, которых тут масса, есть и остаются именно ирландцами. Кто хочет сблизиться с ними, тот должен надеть зеленный галстух и повесить себе на шею образок богоматери.

Хотя Кропоткин и смеялся невольно над моими резкими выпадами, но лицо его отражало тысячу серьезных мыслей, проносившихся в его сознании. Может быть, он никогда еще не смотрел на дело с этой стороны.

Я продолжал:

— Кроме того, тут есть еще около 12 миллионов американских фермеров, в большей свой части людей несомненно недовольных, но отнюдь не созревших для нашего учения, потому что они все еще смотрят назад,—вспоминая о так называемом „добром старом времени", и ожидают спасения от шарлатанов вроде Брайана, а не от идеалов, к которым стремимся мы, и которые они еще считают „враками". Есть еще цветной пролетариат юга, насчитывающий около девяти миллионов человек. Эти негры недоступны пока ни для какой социалистической пропаганды, частью благодаря их чрезвычайно низкому образовательному уровню, частью благодаря тому, что их „боссы" самой грубой силой будут выступать против всякой агитации. Например, когда некто Гупер сделал подобную попытку, его попросту застрелили.

— И все-таки мы по прежнему должны стараться вести в этой стране агитацию по-английски,—говорил наш друг, нахмурившись и проводя руками по своей большой густой бороде.

— Конечно, конечно, сказал я, хотя бы уже потому, что мы часто наталкиваемся на рабочих, представляющих собой настоящее вавилонское смешение национальностей, но все же понимающих немного по-английски, так что только на этом языке с ними и можно об'ясняться. Когда я, например, вел агитацию в угольных копях Пенсильвании, в одном месте я встречал только бельгийцев, в другом только итальянцев, в соседнем селении словаков, потом опять венгерцев или чехов, затем людей из Вестфалии или Силезии и т. д. и т. д. Но, как было сказано, если где-нибудь на свете необходимо вести интернациональную агитацию, т.-е. на всех возможных языках, так это именно в Америке.

* * *

После короткого разговора о второстепенных вопросах Коропоткин сделал мне приятное сообщение о том, что один книготорговц предложил ему об'ехать всю Америку и написать путевые очерки, которые должны были бы появиться в форме книги. При желании он мог бы попутно вести и анархическую агитацию.

— Вы, безусловно, должны согласиться на это,—говорил я,—так как если действовать в более интернациональном тоне, чем принято здесь, этим обязательно будет достигнут очень и очень значительный результат.

— К сожалению, возразил Кропоткин, я не могу теперь согласиться на что нибудь подобное. Я должен выполнить в Англии другие, ранее взятые на себя, обязательства, которые с 1-го мая целиком займут мое время в течение по крайней мере 2-х месяцев. Прежде всего мне придется пересмотреть и дополнить для „Британской Энциклопедии“ множество статей, касающихся России, Средней Азии и т. д. в географическом, историческом, культурно-историческом и других отношениях. Затем я намерен переиздать некоторые из моих старых сочинений, разумеется, в дополненном и исправленном виде. И кто знает, что тем временем соберется на общественном горизонте Европы?

— Но, по крайней мере, вы приедете сюда ближайшей осенью, если это окажется возможным?

— Я думаю об этом.

Обороненный перед этим намек на европейское положение, конечно, привел мои мысли к вопросу:

— Что вы думаете о России? Хотя это и условное выражение, но в настоящий момент оно все же имеет очень серьезный характер.

— Да, Россия!—воскликнул Кропоткин, сразу вскочив со своего места и в глазах его загорелся огонь. Казалось, что все его прошлое в один миг с быстротой молнии прорезало его мозг, и все страдания русского народа, вся позорная история царизма, как в калейдоскопе, прошли перед его великой душой.

— Россия безусловно стоит перед кризисом. Некоторые свои мысли об этом я высказал на днях в жрнуале „The Outlook“. То, что происходит в настоящее время, уже не только симптом недовольства, не простое студенческое движение или что-нибудь подобное. Это пробуждение народного духа. Подымается молодая Россия, как таковая. Студенты только авангард; за ними стоит все более молодое поколение всех мыслящих людей России: индустриальные рабочие больших городов, даже буржуазные классы и даже более молодые чиновники и офицеры. Теперешнего царя все ненавидят больше, чем обоих предшествовавших ему Александров и даже Николая I. Ибо, вместо того, чтобы оправдать хотя бы только малейшие из тех ожиданий, которые возлагал на него при его вступлении на престол образованный и свободомыслящий элемент России, он без оглядки бросился в об'ятия наиболее реакционного крыла старой России и дал увлечь себя на путь насильственных мероприятий против интеллигентной молодежи,—мероприятий,напоминающих о временах Ивана Грозного. Либералы, а под ними я подразумеваю всех, кто против абсолютизма, уже поставили некоторым образом царю ультиматум: или указ о конституции, или революция.

— Но крестьяне, ужасающе огромная масса крестьян, прервал я сверкавшую воодушевлением речь,—что можно ожидать или чего опасаться от них?

— Ничего хорошего и ничего дурного. Они просто останутся нейтральными или, скорее, безучастными. Борьба будет решена в Петербурге, гласил ответ Кропоткина.

— Следовательно это будет политический переворот, и произойдет он в России в ближайшее время?

— Да, конечно,—что же другое может произойти? Для социальной революции в нашем смысле Россия еще не созрела. Но для социального революционного движения путь будет открыт, как только отойдет от русского народа давящий все и всех кошмар абсолютизма. Дальнейшее определят события в Западной Европе с их влиянием на Россию, которое при сколько нибудь либеральной системе, должно сыграть свою роль.

— Значит, и нам „старикам“ тоже предстоят еще славные дни? И мы можем надеяться, что увидим собственными глазами начало конца?

— Конечно!—воскликнул Кропоткин и, схватив при этом обе мои руки, пристально посмотрел мне в глаза, так что меня

пронизал священный трепет. Мне казалось, будто воплощенный пророк об'являет мне радостную весть о грядущей весне народов.

* *
*

После небольшой паузы, невольно вызванной нашей обоюдной взволнованностью, Кропоткин поставил вопрос:

— Как обстоит дело с Германией?—Революционен ли Берлин?

Я не мог, к сожалению, ответить кратким „да“ или „нет“.

— Я думаю,—сказал я,—я надеюсь, по крайней мере. В мое время, т.-е. в 1876—78 г.г., берлинцы в смысле бунтарского духа не оставляли желать ничего лучшего. День за днем говорил я перед поистине чудовищными собраниями, и чем радикальнее были мои высказывания, тем громче было одобрение. Реакционная печать неистовствовала; попы бросали с кафедр свои проклятия „красным“; полиция и суд все время были на готове, чтобы схватить кого нибудь из наших; и „старый Леманн“, как мы звали тогдашнего „кайзера“ в память его бегства в 1848 году переодетым почтальоном Леманном,—„старый Леман“ при виде такого подарка буквально хватался руками за свою баранью голову: „Мой милый Роон,—писал он бывшему военному министру, с которым был очень близок,—мой милый Роон, мы живем в плохое время. Эти Мостовские происки напоминают стремления демагогов во время французской революции. Под покровительством наших либеральных законов безнаказанно попирается религия, государственный авторитет, все, что являет собой цивилизацию и порядок. Что делать?“—Рядом с этим „безнаказанно“, во всяком случае, было бы уместно поставить несколько вопросительных знаков, так как с июня 1871 г. по ноябрь 1878 г. мне, например, пришлось выдержать не менее 50 судебных процессов, и хотя две трети из них кончились оправданием, они все же принесли мне четыре года тюрьмы. Других ораторов и писателей пролетариата—в зависимости от их рвения и темперамента—постигала подобная же участь. Но никто не думал „ворчать“; „происки“ шли все дальше и дальше, и агитация велась даже из тюремных камер. Коротко говоря, жить было истинным наслаждением; революционный дух становился крепче с каждым днем, с каждым часом. И мне было бы очень жаль, если бы с тех пор дело пошло назад.

С серьезным видом и очевидным интересом внимал Кропоткин моим словам, но затем он сказал:

— Но Либкнехт, не думаете ли вы, что он создал совершенно невероятный застой и ужасно опошлил движение?

— По крайней мере, он пытался совершить в этом направлении самое скверное,—должен был я согласиться.—

Чем Лютер являлся для крестьянских войн, тем Либкнехт был в отношении социал-революционных движений нашего врамени— сначала злостный подстрекатель, а потом фанатичный тормозной кондуктор. Все же я не верю, чтобы ему удалось совершенно оскопить берлинцев. Хотя я и не хочу утверждать, что берлинцы захватять инициативу в отношении грядущей социальной революции,—они предоставят это опять парижанам,—но я убежден в том, что если наступит крах во Франции, то и в Берлине, а, значит, и в Германии, тоже разразится гроза.

Радость осветила при этих словах лицо нашего друга. Он сказал потом:

— Даже у Маркса часто бывали горькие контроверзы с Либкнехтом из-за его консервативных припадков.

— Это я могу только подтвердить, заметил я, ибо когда я навещал Маркса в Лондоне, не один раз он говорил: „Либкнехт—политический осел!"... Да, он выразительно подчеркивал по поводу частных разногласий между мною и Либкнехтом, что он много раз имел случай намылить последнему голову. Вы должны знать, что мой спор с Либкнехтом возник впервые не после издания „Freiheit", но тянулся все время моей деятельности в Германии, хотя публично это и не было очень заметно. Едва я принял в 1871 году, молодым человеком 25 л., редактирование „Chemnitzer Freie Presse", как получил от Либкнехта из Лейпцига нечто вроде указа, в котором мне повелевалось писать менее радикально. „Если в Лейпциге хотят разговаривать в другом тоне",—писал я в ответ,— „их на то добрая воля; здесь же будут писать именно так". Это было, конечно, слишком сильно, и с тех пор я навсегда потерял благосклонность Либкнехта. Вероятно, я был бы немедленно прижат к стене, т.-е. отлучен от церкви, если бы не пользовался всеобщей популярностью среди рабочих.

— Вы, значит, лично общались с Марксом?

— Да, конечно,—во всяком случае около 3-х месяцев. Маркс даже обещал сначала поддерживать „Freiheit". Но Энгельс был против, а что приказывал или запрещал Энгельс, имело для Маркса решающее значение.

— Не было ли это печальным обстоятельством?

— Конечно, печальным, но фактически было так. Энгельс сказал мне: „Как можем мы интересоваться такой газетой? Она ведь не просуществует и 3-х месяцев. И родилась она в недрах „Коммунистического Ферейна для просвещения рабочих", который 8 лет назад обидел Маркса,—уже поэтому мы не хотим иметь с ней никакого дела".

— Возможно ли, чтобы люди, которых считают великими, могли быть на самом деле такими маленькими?

— Еще гораздо меньше. Маркс написал мне однажды, что я больше не являюсь для него желанным гостем, так как

я позволил себе злоупотребить его именем в почтовом ящике „Freiheit“. Дело в том, что некоторая сумма денег была получена от „Маркса“, и это было совершенно правильно, так как деньги исходили от некоего Маркса из Вульвича, что я и об‘яснил протестовавшему, от которого, однако, не получил на это ответа. Вы видите, следовательно, можно быть большим человеком и все же вести себя совсем по-ребячески.

Кропоткин невольно должен был искренне засмеяться.

— Мост,—сказал он потом,—почему вы не издадите своих мемуаров? Многочисленные происшествия, пережитые вами, и отношения ваши с людьми, конечно, представили бы большой интерес. Вы прямо-таки обязаны дать такую книгу.

— Так говорили уже некоторые, а иные морщили нос и заявляли, что мне нечего выставлять себя смешным. Впрочем, я уже опубликовал кое-что из пережитого частью в виде брошюр, частью в „Freiheit“.

— Я это знаю, но этим не достигается истинная цель таких набросков. Они должны появиться в виде книги, чтобы иметь длительное значение.

— Прекрасно, но ведь здесь есть и другая сторона. Я не могу найти подходящего издателя, а издавать самому у меня нет средств.

— Старая песня,—сказал Кропоткин с подавленным вздохом.—Мы хотим теперь издать в Лондоне на английском языке так называемую „Книгу конгресса“, и хотя мы и сократили почти на половину перевод относящихся сюда докладов, все же денег не хватает. Поэтому доход от моей агитации частью должен быть обращен и на эту цель.

* * *

Наконец мы перешли к личным обстоятельствам, которые в сущности сюда не относятся; но я все-таки хочу позволить себе привести здесь часть этого разговора.

— Милый друг,—сказал я,—в прошлом году меня позорно оклеветали в Европе.

— Но вы должны быть выше этого.

— Тем самым все же наносится вред делу, которое мы защищаем. Некто К. зашел так далеко, что распространил в голландских газетах подлые пересуды и сплетни обо мне, перекочевавшие из Америки в Париж.

— Мост, Мост, кто же может вас оклеветать?—воскликнул Кропоткин.—Вы представлены „Freiheit“. Пусть с вас будет довольно того, что я одного мнения с Элизэ Реклю, и что мы уже говорили это сто раз тем, кто хочет слышать: „Freiheit“—лучшая социалистическая газета.

— Это звучит во всяком случае лестно, но ведь в настоящее время немного немецких газет нашего направления; таким образом, это мало говорит.

— Нет. Мы думаем не так, мы имеем при этом в виду все социалистические и анархические органы.

Настало время расстаться (Кропоткин вскоре должен был делать доклад). Я протянул ему руку на прощанье, говоря:

— Благодарю моего учителя за то, что он сделал меня таким, каков я ныне.

— О, мы все учимся один у другого, это взаимно.

— Не совсем так, по крайней мере, между нами двумя. Я с детства был мятежником. Постепенно из меня выработался атеист, коммунист и анархист; но между коммунизмом и анархизмом мне долго не хватало разных соединительных звеньев: я почерпнул их из ваших сочинений и оказался, таким образом, в состоянии ясно, логично и последовательно выступать за наши идеалы.

Кропоткин вновь заключил меня в свои об'ятия и поцеловал меня. На мои глаза навернулись слезы умиления. И мой голос звучал тихо, когда я говорил:

— До свидания, осенью!

При выходе другая мысль промелькнула у меня в голове:

— В Европе мы едва ли встретимся,—заметил я.

— Кто знает, отвечал Кропоткин твердым голосом. Каждый день может принести нам из Петербурга или Парижа такую весть, которая всех нас призовет под наше знамя!

Джон Мост.

К вопросу об организации научной секции при Кропоткинском Комитете.

Идеи Петра Алексеевича вошли в сознание громадного числа людей и в той или иной форме и степени влияют на их поступки и на организацию людьми своих личных и общественных отношений. Тем самым воззрения Кропоткина совершают плодотворнейшую работу и в области **теоретического** изучения процессов общественной жизни. Но это влияние осуществляется пока спорадически, стихийно, без связи и взаимопомощи тех, кто работает в области теории, будучи близким основным устремлениям Петра Алексеевича. Этот процесс оплодотворения точками зрения и методами Кропоткинского миросозерцания мог бы быть гораздо интенсивнее, если бы друзьям Петра Алексеевича удалось внести элемент вольной организации и взаимной поддержки в область изучения идей Кропоткина и дальнейшего продвижения по намечен-

ным Петром Алексеевичем теоретическим линиям. Я думаю, что настало уже время взяться за эту работу.

Теоретические конструкции Кропоткина—не есть нечто раз навсегда данное и законченное в себе. Они живут и получают все новые и новые оттенки на фоне непрерывно меняющейся социальной действительности и роста научного материала и научной мысли. Так, например, анализ „Французской революции" Петра Алексеевича мог быть один до гражданских войн последних лет, и чрезвычайно отличным становится он после них. Отсюда вытекает необходимость постоянной и систематической работы над учетом новых идей и фактов в их отношении к миросозерцанию и творениям Петра Алексеевича.

Наряду с этим стоит задача громадной ответственности. Мало учитывать новое—нужно двигать само мировоззрение дальше. Нужно активно идти вперед по тем путям, какие указал Кропоткин теоретической мысли. Так, явления взаимопомощи, несомненно, могут дать еще много нового материала для новых социологических построений и для понимания исторических процессов, особенно как антитеза современного понимания классовой борьбы. Вопросы децентрализации экономических отношений, так, как они намечены Петром Алексеевичем, например, в „Письмах о текущих событиях", настоятельно требуют дальнейшего систематического изучения. Взгляды Кропоткина на существо государственной власти не могут не быть развиты далее и не могут не получить нового обоснования в связи с оценкой текущей действительности. Понимание Петром Алексеевичем процессов Великой французской революции, несомненно, дало бы громадные результаты, если бы его перенести и на другие аналогичные исторические события, и т. д., и т. д. Нужно идти вперед, чтобы учение Кропоткина не осталось—ярким и прекрасным, конечно, но ограниченным уже завершившейся эпохой явлением, чтобы оно дало все, что оно может дать, как миросозерцание и как организующая сила в построении вольного человеческого общежития.

Идеи творят действительность, и идеи Петра Алексеевича во многих местах земного шара, часто сознательно, применяются для практической организации вольно-общинной жизни. Эти попытки—великой ценности материал не только для практики социалистического и анархического движения, но и для истории человеческих исканий и для проверки наших теоретических построений. Несмотря на очевидную важность учета такого опыта и его научной обработки, до сих пор не существует организации, которая специально занималась бы этим. Пора этот пробел восполнить.

Я утверждаю, что настало время создать вольное содружество людей, работающих над научными вопросами в духе Кропоткина—как сторонников миросозерцания Петра


БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ

Алексеевича, так и людей, просто чувствующих его плодотворное влияние на свою научную работу.

Это содружество должно поставить своей задачей: 1) всестороннее и планомерное изучение миросозерцания Петра Алексеевича на фоне современных жизненных условий и учитывая новый научный материал; 2) дальнейшую научную разработку его идеи; 3) учет и теоретическое освещение всех попыток в той или иной форме осуществить построения Петра Алексеевича в жизненной практике.

Естественно, конечно, чтобы ядро этого научного содружества возникло при Кропоткинском Комитете в Москве. Здесь должна была бы создаться инициативная группа (научная секция), которая, помимо актуального разрешения указанных мною общих задач, вела бы следующую работу:

собирала бы сведения о научных работах, производящихся в России и заграницей в духе Кропоткинского мировоззрения или частично отражающих взгляды Петра Алексеевича, а равно и собирала бы самые эти работы;

информировала бы работающих в научной области и близких по духу Петру Алексеевичу о том, что делается другими работниками в связанных с идеями Кропоткина областях;

вносила бы возможную планомерность в разработку соответствующих научных вопросов путем вольной координации усилий и разделения труда;

знакомила бы общество (путем отдельных докладов и специальных курсов) с состоянием науки в близких мировоззрению Кропоткина областях и с деятельностью содружества;

содействовала бы изданию научных трудов и научно-популярной литературы по соответствующим вопросам.

Друзья Петра Алексеевича, сторонники его мировоззрения и те ученые, которые считают себя обязанными ему новыми точками зрения и свежими и благородными стимулами к творчеству,—пусть откликнутся на этот призыв и положат почин серьезному и хорошему делу, начав хотя бы с того, чтобы информировать Кропоткинский Комитет в Москве о своих работах и о работах других деятелей теоретической мысли, связанных с миросозерцанием и отдельными взглядами нашего великого учителя и друга.

Ник. Иванович.

Kropotkiniana.

(Хроника).

— Президиум Московского Совета Р. и К. Деп. постановил переименовать Пречистенскую набережную и набережную храма Христа Спасителя в *Кропоткинскую* набережную.

Точно также постановлено Пречистенские ворота переименовать в *Кропоткинские* ворота.

— Исполком города Дмитрова переименовал Советскую улицу в гор. Дмитрове (на которой жил П. А.) в улицу *Кропоткина.*

— Московской городской библиотеке иностранных книг (в Петровских линиях) присвоено название *библиотеки имени П. А. Кропоткина.*

ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРОПОТКИНСКОГО КОМИТЕТА.

— Летом нынешнего года в Лондоне образовался комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина; в состав комитета вошли некоторые общественные и научные английские деятели (в том числе Герб. Уэллс и Берн. Шоу) а также и русские друзья и почитатели П. А-ча, которые в настоящее время живут в Лондоне.

Комитет ставит целью собирание материалов и денежных средств для Московского Музея П. А. Кропоткина.

— Софья Григорьевна Кропоткина (вдова покойного П. А-ча), находящаяся в настоящее время в Лондоне. отправила в Москву, в Музей П. А. Кропоткина, библиотеку и архив Петра Алексеевича, а также обстановку его кабинета и другие реликвии. Груз, в количестве более 70 ящиков, следует из Лондона с пароходом „Колыма" и в ближайшее время прибудет в Ленинград.

— Для усиления средств, необходимых для дальнейшей организации Музея, Комитет по увековечению памяти П. А Кропоткина предполагает устраивать в помещении Музея в предстоящие месяцы ряд платных лекций и докладов на темы, связанные с жизнью и творчеством П. А-ча, а также и по истории революционного движения и развития революционной мысли.

В сентябре, октябре и ноябре месяцах в Музее состоялись уже доклады В. Н. Фигнер, М. Ю. Ашенбренера, В. В. Леоновича-Ангарского, Г. Б. Сандомирского, Н. И. Павлова, В. Львова-Рогачавского и др.

П. А. Кропоткин в литературе.

*а) Новые издания произведений П. А. Кропоткина *):*

— В издательстве „Недра" (Москва) печатаются с значительными дополнениями под редакцией Н. К. Лебедева „Записки Революционера". Кроме дополнений в тексте по неизданным рукописям, в книгу отдельным приложением после текста включены две главы первоначальной редакции—„Кружок чайковцев" и „Западная Европа". „Записки" снабжены примечаниями Н К. Лебедева. Книгу предполагается выпустить в продажу к 1-му января.

— В настоящее время Н. К. Лебедевым подготовляется к печати: „*Избранная переписка братьев Петра и Александра Кропоткиных*" с примечаниями и комментариями. Переписка охватывает период 1857—1871 гг.

— Госуд. Издательство в биографической серии общественных и научных деятелей печатает биографию П. А. Кропоткина (пять печатных листов), составленную Н. К. Лебедевым. Книжка должна поступить в продажу в декабре месяце.

---

*) Об изданиях произведений П. А. Кропоткина в Европе и Америке у нас имеются лишь случайные сведения.

— В Нью-Иорке издательство газеты „Американские Известия“ (на русском языке) напечатало (по русски) первый том „Этики“.

— В Берлине в издательстве „Der Syndicalist“ летом 1924 г. вышел на немецком языке первый том „Этики“.

— В Берлине, в том же издательстве „Синдикалист“, вышли новые немецкие издания „Справедливости и нравственности“ и „Исторической роли государства“.

— В Вене, в издательстве „Познание и Освобождение“ (Erkentniss und Befreiung), вышло новое немецкое издание „Речей бунтовщика“, с введением и примечаниями Пьера Рамюса.

— В вышедшей в Потсдаме в 1921 г. книге Густава Ландауэра „Der werdende Mensch“ среди других статей имеется биографический очерк „Peter Kropotkin“.

— В Париже вышли в двух томах (по-французски) „Записки Революционера“.

— В Париже готовится к печати по-французски первый том „Этики“.

— Первый том „Этики“ переводится в Соедин. Штатах Сев. Америки на английский язык.

— *П. А. Кропоткин на эсперанто.* В органе Вненациональной Мировой Ассоциации эсперантистов „Sennacieca Revuo“ в № 5 (46) за февраль 1924 г. напечатана статья П. А. Кропоткина „Все социалисты“, а в журнале „Sennaciulo“ в № 2, от 9 октября 1924 г. помещени статья П. А-ча „Идеалы в революции“. В настоящее время на эсперанто печатается первый том „*Этики*“ в издании „Научной Анарх. Библиотеки“.

б) Литература о Кропоткине:

— В журнале „Былое“ (25-я книга) в статье „Взволнованные лоботрясы“ (о „священной дружине“) приводятся сведения, как руководители „священной дружины“—великие князья, после дела 1-го марта 1881 г. посылали агентов в Швейцарию, чтобы выведать у П. А. Кропоткина, которого они считали участником дела 1-го марта и руководителем анархистов, дальнейшие шаги революционеров.

Агент Климов (бывший калужский исправник) был послан в Женеву и, чтобы скорее завоевать симпатии П. А. Кропоткина, ему было поручено основать „анархическо-террористическую“ газету.

Этот Климов в одном из своих писем к руководителям священной дружины пишет, что ему, наконец-то, удалось познакомиться *с самим* Кропоткиным.

— О. В. Аптекман в книге „Земля и Воля“ (изд. „Колос“, 1924 г.) приводит несколько новых данных об организации побега П А. Кропоткина. записанных Аптекманом со слов М. А. Натансона, принимавшего близкое участие в устройстве побега П. А-ча.

— *И. И. Попов* в книге „*Минувшее и пережитое*“ (изд. „Колос“, 1924 г.) приводит любопытный рассказ казачьего офицера Ковригина, который снаряжал экспедицию А. П-ча в Манчжурию, а также вспоминает, какое впечатление произвело на него (И. И. Попова) бегство П. А-ча из тюремного госпиталя (стр. 38—39).

— Академик *Илья Гинзбург* в своей книге „*Из прошлого*“ поместил главу „У Кропоткина“, в которой он рассказывает о своих встречах с П. А-чем в Бромлее (в Англии) и в Дмитрове (в 1920 г.).

— Проф. *Н. И. Кареев* в книге „Новейшее время“ (от 1859 до 1914 г.) Историографические очерки (изд., „Наука и Школа“ 1923 г.), говоря о Парижской Коммуне 1871 г., приводит ряд книг о Коммуне и пишет: „особенно видные работы о Коммуне вышли из-под пера социалистических (в широком смысле) авторов. Здесь обращают на себя внимание книги Маркса и Энгельса, П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина и *П. А. Кропоткина*“.

— Проф. *М. А. Мензбир* в брошюре „Великое оледенение Европы“ (изд. Сабашниковых, 1923 г.), говоря о ледниковой гипотезе, прибавляет: „в 70-х годах прошлого столетия П. А. Кропоткин высказал мнение, что

следы ледниковых явлений недавнего геологического прошлого оставлены континентальными ледниками, и это мнение, за его обоснованностью, скоро стало господствующим в науке...".

— Академик *В. И. Вернадский* в книге „Очерки и речи" (Научное Химико-Техн. Издат. В. С. Н. Х.) в статье о В. В. Докучаеве, говоря о работах П. А. Кропоткина в области исследования ледниковых отложений, называет эти работы „совершенно выдающимися по самостоятельности и глубине мысли..." оказавшими в конце концов решающее влияние на весь ход мысли Докучаева в этой области явлений и определившими его научные интересы"... (О значении работ П. А. Кропоткина для развития теорий Докучаева академик Вернадский слышал от самого В. В. Докучаева).

— Проф. *А. П. Павлов* в книге „*Очерк истории геологических знаний*" в нескольких словах говорит о заслугах П. А. Кропоткина в области геологии.

— Проф. *А. Борисяк* в книге „Геологический очерк Сибири" (изд. Сабашниковых) в нескольких местах ссылается на работы П. А. Кропоткина.

— *Г. Г. Шахвердов* в книге „*Воспитание народных масс*" (Юго-восточн. краевое изд. „Буревестник", Ростов-на-Дону, 1924 г. 440 стр.) посвящает несколько страниц разбору педагогических взглядов П. А. Кропоткина и сочувственно цитирует его фразы о „соединении труда умственного с физическим", заканчивая свое изложение идей Кропоткина о воспитании словами П. А-ча—„Труд для всех и благосостояние для *всех*—вот истинный боевой клич периода, в который вступила наша общественная жизнь".

— *И. С. Гроссман-Рощин* в журнале „Красная Новь" (вторая книга за 1924 г.) напечатал статью „К критике основ учения П. А. Кропоткина" (стр. 13?—154).

— *Б. И. Горев* в своей книге „*От Томаса Мора до Ленина*" посвящает одну главу П. А. Кропоткину и разбору его учения.

— В книге „*Очерки обществоведения*",—М. Б. Вольфсона (Гос. Изд. 1924 г.)—помещен портрет П. А. Кропоткина и приведены краткие биографические сведения.

— В книге „*Что читать по общественным вопросам*",—И. С. Книжника (Ленинград. Изд. „Прибой", 1924 г. стр. 490) приведена краткая библиография произведений П. А. Кропоткина и список литературы о Кропоткине, вышедшей за период 1921—1922 гг.

— Проф. М. Н. Покровский в своем докладе на с'езде центральных и местных ОПУ, 28-го мая 1924 г.—„Марксизм в программах трудовой школы I и II ступени", говоря о необходимости преподавать детям коллективизм, добавляет: „необходимо преподавать детям коллективизм не а-ля-Кропоткин, а тот коллективизм, который у нас зарождается в производстве и отчасти в деревне..."

В другом месте своего доклада М. Н. Покровский, говоря „о началах коллективизма в естествознании", выдвинутых другим докладчиком, спрашивает: „ведь не по Кропоткину же мы будем преподавать эти начала коллективизма в естествознании..."

— В газете „Правда" в № 81 от 9 апреля 1924 г. напечатана статья Н. К. Крупской под заглавием „*Огрехи главполитпросвета*". В этой статье Н. К. Крупская рассказывает историю циркуляра о „запрещении и из'ятии из библиотек ненужных и вредных книг" и в том числе и некоторых произведений *П. А. Кропоткина* и Л. Толстого.

После того, как в европейской печати стало высказываться возмущение по этому поводу, „запрещение" с произведений П. А. Кропоткина и Л. Толстого были сняты. Н. К. Крупская в своей статье говорит, что это запрещение было сделано ошибочно, так как „произведения Кропоткина и Толстого не опасны и „не страшны". „Жизнь сделала, говорит Крупская, учения Толстого и Кропоткина нежизненными, бессильными, а потому запрещать их книжки не имеет смысла".

Книжная Экспедиция Кропоткинского комитета.

В целях распространения общественного учения и научных взглядов П. А. Кропоткина, Комитетом по увековечению его памяти устроена в Москве *Книжная Экспедиция* как произведений самого Кропоткина, так и литературы о нем, равно как и произведений его предшественников, друзей-современников (Бакунина, Элизе Реклю, Малатесты, Дж. Гильома, Черкезова и др.) и последователей.

Кроме имеющихся на складе изданий, *Экспедиция* исполняет также поручения по приобретению (по розничным рыночным ценам) и пересылке и иной литературы. Идейная литература Кропоткина и кропоткинского направления высылается с возможно большей скидкой. Чистая выручка экспедиции предназначается на усиление средств Кропоткинского Музея.

Высылка литературы производится за наличный расчет или наложенным платежом при получении задатка для покрытия почтовых расходов, которые относятся за счет заказчиков.

С требованиями обращаться к заведующему *Книжной Эксиедицией* тов. *М. П. Шебалину* по следующему адресу: Москва, пер. Кропоткина, № 26.

На складе имеются следующие сочинения П. А. Кропоткина и о Кропоткине:

		Цена Руб.	Коп.
П. Кропоткин.	Записки революционера	2	—
„	Речи бунтовщика	—	50
„	Взаимная помощь	—	60
„	Хлеб и воля	—	40
„	Современ. наука и анархия	—	55
„	Поля, фабрики и мастерские	—	50
„	К чему и как прилагать труд умственный и физический	—	10
„	Справедливость и нравствен.	—	10
„	Анархия	—	10
„	Русская революц. и анархизм	—	10
„	Анархическая работа во время революции	—	10
„	Великая французск. революц.	2	20
„	ЭТИКА.—Нравственность, ее происхождение и развитие	—	65
„	Дневник	1	50
Однодневная газета, изданная в 1-ую годовщину смерти П. А. Кропоткина (12 страниц)		бесплатно	
Памяти П. А. Кропоткина. Сборник № 1. (Изд К-та).		—	60
Бюллетень № 1 Кропотк. К-та		—	30
Сборник памяти П. А. Кропоткина (изд. „Г. Т.“)		—	55
И. Хархардин.—Кропоткин, как экономист		—	10
И. Гроссман-Рощин. Характер. творчества П. А. Кропоткина		—	10

От Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина.

Всероссийский Общественный Комитет по увековечению памяти П. А. Кропоткина обращается с призывом ко всем учреждениям и лицам, у которых имеются письма покойного Петра Алексеевича Кропоткина, а также какие-либо материалы (воспоминания, заметки, рисунки, фотографии и т. п.), относящиеся к его жизни и личности, предоставить эти материалы в подлинниках или точных копиях в распоряжение Комитета.

Все полученные материалы и документы пойдут в Музей П. А. Кропоткина. Наиболее важные из полученных материалов будут опубликованы в намеченных к изданию Сборниках памяти П. А. Кропоткина или в „Бюллетене Всерос. Общ. Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина".

Все материалы и документы просят присылать на имя секретаря Комитета Н. К. Лебедева по адресу: Москва, улица Кропоткина, пер. Кропоткина (бывш. Штатный), дом № 26.

Исполнительное Бюро Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти Петра Алексеевича Кропоткина.

Комитет пр сит все редакции газет и журналов перепечатать настоящее обращение.



СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

П. А. Кропоткин. Новые страницы „Записок революционера":
1.—Первое знакомство с Интернационалом 3
2.—Из встреч с Тургеневым и Антокольским 5
Алексей Боровой. П. А. Кропоткин, как характер 6
Н. А. Кропоткин. Воспоминания 12
Революционеры и писатели Запада о П. А. Кропоткине. Отзывы Ж. Ивто, Р. Роккера, Г. Брандеса, Ромэн Роллана, Ш. Деппланка, Э. Малатесты, Анри Барбюсса 20
Джон Мост. Час с Петром Кропоткиным 24
Ник. Иванович. К вопросу об организации Научной Секции при Кропоткинском Комитете 32
Kropotkiniana (Хроника). Из деятельности Кропоткинского Комитета.
П. А. Кропоткин в литературе:
а) Новые издания произведений П. А. Кропоткина
б) Литература о Кропоткине 35
Книжная Экспедиция Кропоткинского Комитета 38
От Всероссийского Общественного Комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина 39

Склад издания: МУЗЕЙ П. А. КРОПОТКИНА. Москва, пер. Кропоткина, д. 26

Отв. Редактор **Н. К. Лебедев.**

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

1) Музей П. А. Кропоткина, пер. Кропоткина (б. Штатный), № 26.

2) Магазин „Голос Труда“, Моховая, 22. Тел. 1-34-32.